

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) и Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873) – два знаменитых имени в звёздной плеяде имён русской словесности – прославили наше Отечество доброй славой во всём образованном мире.

Писатель и поэт тесно связаны творчески и биографически. Между ними существовало взаимное человеческое притяжение, психологическая совместимость. На это указывают их произведения, эпистолярное наследие. Впечатлениями о личности и творчестве Тургенева Тютчев делился с самыми близкими ему людьми. Так, в сентябре 1852 года поэт писал своей супруге Эрнестине Фёдоровне: «я только что прочитал два тома “Записок охотника” Тургенева, где встречаются восхитительные страницы, отмеченные такой мощью таланта, которая благотворно действует на меня: понимание природы часто представляется вам как откровение. Нам нужно прочесть это вместе».

В письме жене от 10 декабря 1852 года, намекая на обстоятельства ареста и высылки из столицы Тургенева в его имение Спасское-Лутовиново Орловской губернии, Тютчев горячо сочувствовал изгнаннику: «И когда подумаешь, что вследствие какого-то грубого недоразумения... Надо пожелать ему, художнику, найти в своём таланте достаточно воздуха и сил, чтобы не дать задохнуться человеку...» Поэт надеялся, что Тургенев по-соседски придет погостить в тютчевское родовое имение Овстуг, расположенное в той же Орловской губернии: «Если он вас навестит, чего я вам желаю от всего сердца, передай ему от меня душевный привет». Разделяя читательские впечатления о «Записках охотника», Тютчев прибавлял: «Я так и думал, что ты оценишь книгу Тургенева. Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны».

Ранее – ещё до близкого знакомства с Тургеневым – Э.Ф. Тютчева в письме к П.А. Вяземскому от 8 ноября 1849 года сообщала: «На днях состоялся литературный вечер у кн. Одоевского. Читали драму, озаглавленную “Нахлебник”. <...> Актёр Щепкин, как говорят, превосходно прочёл пьесу. Мой муж находит, что это произведение отличается захватывающей и трагической правдой».

В начале декабря 1853 года Тургенев возвратился из своего имения в столицу, и уже 19 декабря Тютчев извещал жену: «изгнанник Тургенев вернулся в Петербург и живёт по соседству со мной. Я часто и с удовольствием вижусь с ним». Эти строки свидетельствуют о том, что между двумя авторами установилось близкое знакомство, завязались дружеские отношения, которые Тургенев высоко ценил. В предисловии к собранию своих романов 1880 года он называет имя Тютчева и прибавляет: «дружбой которого я всегда гордился и горжусь».

В результате их общения Тургеневу удалось уговорить поэта на издание его стихов отдельной книгой. Как известно, Тютчев очень небрежно относился к судьбе своих творений, называл их то «буагомараньем», то «стихами-подкидышами». Справедливо предвидя, что грядёт важное событие в русской литературе, Тургенев 10 февраля 1854 года с удовлетворением сообщал С.Т. Аксакову о своих усилиях: «Я сделал здесь две хорошие вещи: уговорил Тютчева (Фёдора Ивановича) издать в свет собранные свои стихотворения и помог Фету окончательно привести в порядок и выправить свой перевод Горация». Без непосредственного участия Тургенева многие тютчевские стихотворения никогда бы не дошли до читателя. Только благодаря стараниям писателя было осуществлено первое издание собрания стихотворений Тютчева, что принесло Тургеневу «душевную радость»: «мы не могли душевно не порадоваться собранию воедино разбросанных доселе стихотворений».

Заслуга Тургенева также и в том, что он, искренне восхищённый творчеством своего старшего современника, выступил как его горячий сторонник, стремясь расширить круг читателей и ценителей Тютчева. Так, благодаря Тургеневу состоялось знакомство с тютчевской поэзией Л.Н. Толстого, который сразу стал её почитателем: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К0 едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочёл, то просто обмер от величины его творческого таланта».

Будучи сотрудником редакции некрасовского журнала «Современник», Тургенев продолжил начатое Н.А. Некрасовым (1821–1878) в статье «Русские второстепенные поэты» (1850) открытие Тютчева как поэта «первостепенного». В апрельском выпуске «Современника» за 1854 год Тургенев поместил свою статью «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева». Это один из первых литературно-критических

отзывов о творчестве Тютчева, где дана объективная оценка его поэзии, в те годы мало известной и недостаточно глубоко понимаемой читателями и критикой. Высоко оценивая Тютчева, Тургенев переводит его из разряда «русских второстепенных поэтов» в ранг авторов первого ряда и ставит даже выше «более даровитых из теперешних наших поэтов» – Фета, Некрасова, Майкова и других: «г. Тютчев <...> стоит решительно выше всех своих собратьев по Аполлону».

Для писателя, органично усвоившего пушкинские традиции, Тютчев особенно дорог прежде всего как наследник и преемник Пушкина. Тургенев заметил, что стихи Тютчева поражают «почти пушкинской красотой своих оборотов» (4, 526). Автор статьи открывает «одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина», не только для читателей, но и для себя самого.

Очевидно, что Тургенев работал над статьёй под свежим и сильным впечатлением от тютчевской поэзии, осмысливал и прочувствовал её заново. Он увидел в Тютчеве проникновенного лирика, мыслителя и художника, по духу близкого своим собственным творческим устремлениям. Отмечая своеобразие таланта Тютчева, Тургенев в небольшой по объёму статье сумел развить целую теорию поэтического искусства, опираясь на художественные образы, подсказанные тютчевской лирикой.

Так, например, в рассуждениях Тургенева различима натурфилософская образность стихотворения «Не то, что мните вы, природа...» (1836):

Вы зрите лист и цвет на древе:  
Иль их садовник приклеил?  
Иль зреет плод в родимом чреве  
Игрою внешних, чуждых сил?

«Драгоценным» качеством тютчевских стихов Тургенев считает их естественность, неотделимость от личности поэта, которому талант ниспослан в дар: «от его стихов не веет сочинением; <...> они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве». Поэтические образы получают в тургеневской статье дальнейшее идейно-эстетическое развитие: «Из отрубленного высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не вырасти на том суче свежему листу, не раскрыться на нём пахучему цветку, как ни согревай его весеннее солнце».

Важно отметить, что Тютчев смотрел на стихотворцев как на любимых детей матери-природы. В лирическом послании А.А. Фету «Иным достался от природы инстинкт пророчески-слепой...» (1862) можно усмотреть тютчевскую самохарактеристику и в то же время отнести эти строки к Тургеневу, который, согласно глубоко верному суждению поэта, сумел уловить «сокровенное природы со всей её поэзией»:

Великой Матерью любимый,  
Стократ завидней твой удел –  
Не раз под оболочкой зримой  
Ты самоё её узел...

Чуткий к поэтическому слову и его интонациям, Тургенев отмечает, что поэт не только «дитя» матери-природы, но и сам в свою очередь,

образно говоря, является «матерью» своих стихов. Он должен «выносить» произведение «у своего сердца, как мать ребёнка в чреве».

Поэзия Тютчева в восприятии Тургенева позволяет писателю глубже осмыслить собственные эстетические взгляды и принципы. Гармония стиха, «обаяние мерной лирической речи», «соразмерность таланта с самим собою», «соответственность его с жизнью автора» – наиболее ценные качества тютчевской лирики, указанные Тургеневым, характерны также и для него самого. Тургеневская статья, овеянная задушевной лирической интонацией, стала яркой страницей в истории творческого взаимодействия двух художников русского слова.

Способность к восприятию тютчевской поэзии явилась для Тургенева обобщённым критерием наличия либо отсутствия эстетического чувства: «О Тютчеве *не* спорят, – категорически заявил писатель в письме к Фету от 27 декабря 1858 года, – кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии».

В то же время литературные оценки взаимодействовали с собственными художественными поисками Тургенева. Складу его писательского мышления отвечали глубокий психологизм и философичность тютчевской лирики: «великие мысли, если они действительно велики, выходят не из одной головы, но из сердца». Осердеченное ощущение таинственной сущности жизни, изображаемой в свете религиозно-философских и эстетических представлений, свойственно обоим художникам. Тургеневу близок характерный для Тютчева поэтический образ «очарованной души», устремлённой к недостижимым тайнам бытия.

«Тайны человеческой жизни велики, а любовь самая недоступная из этих тайн...» – утверждал писатель в повести «Несчастливая» (1868). В тургеневскую повесть «Фауст» (1856), тема которой – непостижимая игра судьбы, действие «тайных сил» в жизни каждого человека, – органично вплетается строфа из стихотворения Тютчева «День вечереет, ночь близка...» (1851):

Крылом своим меня одень,  
Волненье сердца утиши, –  
И благодатна будет тень –  
Для очарованной души...

В поэтическом тексте в особенности проявляется необъяснимость, иррациональность романтического любовного чувства:

Лишь ты, волшебный призрак мой,  
Лишь ты не покидай меня!..

Стихотворение завершается каскадом вопросов, на которые, как и в повести «Фауст», человеку в его земной юдоли ответа не дано:

Кто ты? Откуда? Как решить,  
Небесный ты или земной?  
Воздушный житель, может быть,  
Но с страстной женскою душой.

Философско-психологические открытия метафизических глубин вселенской жизни и противоречивых движений человеческой души, лирический самоанализ, романтическая одухотворённость – важные сферы пересечения художественных миров Тургенева и Тютчева. Поэт

уже в «Записках охотника» пронизательно уловил тургеневское стремление к синтезу реалистических и романтических начал – «реального и сокровенного»: «Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувства художественности и чувства глубокой человечности. С другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного». В полной мере редкостное соединение указанных свойств, поразивших Тютчева в тургеневской прозе, относится к эстетическим качествам его собственной поэзии и свидетельствует о взаимном глубинном проникновении двух авторов в их художественные миры.

Самобытная «поэзия мысли» Тютчева получила своё отражение в оригинальном тургеневском цикле «*Senilia*. Стихотворения в прозе» (1878–1882). Существует своеобразное «притяжение» между тургеневскими лирическими миниатюрами и поэтическими шедеврами Тютчева. Их общая этико-философская направленность очевидна. Во многом сходны лирические ситуации, источники образности, на которые Тургенев обратил внимание ещё в своей статье: «каждое его (Тютчева. – *A. H.-C.*) стихотворение начиналось мыслью, но мыслью, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления <...> мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлечённою, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы».

Преимственные связи обнаруживаются также и в проблематике, и в общей тональности произведений двух художников слова. Обращают на себя внимание некоторые важные моменты творческой параллели «Тургенев – Тютчев».

Прежде всего они обнаруживаются в стремлении двух художников к лирико-философским обобщениям многолетних сокровенных раздумий о смысле бытия, к раскрытию сложных душевных конфликтов, в которых проявляется глубоко выстраданное «я» лирического героя. Тургеневский цикл *Senilia* («Старческое») – лирическое завещание писателя, его последняя исповедь, близкая по тематике и эмоционально-психологической настроенности поэтически исповедальной лирике Тютчева:

То потрясающие звуки,  
То замирающие вдруг...  
Как бы последний ропот муки,  
В них отозвавшись, потух!

*«Проблеск», 1825*

Проблема жизни и смерти – центральная в цикле «Стихотворений в прозе» – характерна и для тютчевской поэзии:

Дни сочтены, утрат не перечеть,  
Живая жизнь давно уж позади...

*«Брат, столько лет...», 1870*

Оба автора испытывают извечный ужас перед лицом неотвратимой смерти. «При всём желании нельзя избежать чувства всё возрастающего ужаса, видя, с какой быстротой исчезают один за другим наши оставшиеся в живых современники, – писал Тютчев 14 сентября 1871

года. – Они уходят, как последние карты пасьянса». Пессимистический и трагический характер носят стихотворения в прозе Тургенева «Старуха», «Черепка», «Последнее свидание», «Встреча», «Насекомое» и другие.

Один из характерных тургеневских образов, передающих трагизм человеческой жизни, – раненая птица («Без гнезда», «Куропатки»). В лирической миниатюре «Что я буду думать?» автор распознал, как в глубине потускневших глаз умирающего «билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы». Та же метафора развёрнута в стихотворении Тютчева «О, этот Юг! О, эта Ницца!...» (1864):

Жизнь, как подстреленная птица,  
Подняться хочет, – и не может...  
Нет ни полёта, ни размаху –  
Висят поломанные крылья,  
И вся она, прижавшись к праху,  
Дрожит от боли и бессилья...

Оба художника изображают «вечернюю зарю» человеческой жизни на закате дней. Её скоротечность символизируют «Песочные часы» Тургенева: «День за днём уходит без следа, однообразно и быстро. Страшно скоро промчалась жизнь, скоро и без шума». Обострённый слух лирического героя в гробовой тишине бессонной ночи способен различить еле уловимый шорох песочных часов: «мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни». Тот же элегический мотивно-образный комплекс обнаруживается в тютчевском стихотворении «Бессонница» (1829):

Часов однообразный бой,  
Томительная ночи повесть!  
Язык для всех равно чужой  
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,  
Среди всемирного молчанья,  
Глухие времени стенанья,  
Пророчески-прощальный глас?

Однако сквозь тоску ночного пейзажа души лирического героя Тургенева и Тютчева, среди «тёмных тяжёлых дней», когда «под гору пошла дорога» («Старик»), ещё возможны минуты ярких озарений, сияние душевного света. В старости, предаваясь счастливым воспоминаниям, человек по-прежнему способен испытывать прилив жизненных сил, горение сердечного огня, постигать гармонию бытия: «О поэзия! Молодость! Женская девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною – ранним утром ранней весны!» – восклицает Тургенев в миниатюре «Посещение».

«Камень на морском побережье в час прилива» – этот образ переходит в развёрнутую метафору человеческого сердца: «Так и на моё старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души – и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня!.. Волны отхлынули, но краски ещё не потускнели» («Камень»).

Подобные настроения особенно ошутимы у Тютчева в его шедеврах: «Я помню время золотое...» (1836), «Я встретил Вас – и всё былое...» (1870), «Последняя любовь» (между 1852–1854), «Как над горячею золой...» (1829):

Так грустно тлится жизнь моя  
И с каждым днём уходит дымом;  
Так постепенно гасну я  
В однообразье нестерпимом!..

О небо, если бы хоть раз  
Сей пламень развился по воле.  
И, не томясь, не мучась доле,  
Я просиял бы – и погас!

Лирическая медитация в тургеневском стихотворении в прозе «Старик» также обращена к свету, но источник его – в отличие от поздней лирики Тютчева – только в прошедшем: «Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, – и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет пред тобою своей пахучей, всё ещё свежей зеленью и лаской и силой весны! Но будь осторожен... Не гляди вперед, бедный старик!»

Миниатюра «Завтра! Завтра!» сопоставима с тютчевским стихотворением «Не рассуждай, не хлопочи...» (1850). Тургенев любил эти стихи, цитировал их в качестве собственного совета в письме к Фету от 16 июля 1860 года: «“Не хлопочи”, – сказал мудрец Тютчев, – “безумство ищет”...»

Писатель, выражая всечеловеческое содержание, отмечает, что каждому свойственны неоправданные ожидания благ от будущего, «безумные» надежды на завтрашний день. К человеку, который почему-то «воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитой день? Да он этого и не воображает. Он вообще не любит размышлять – и хорошо делает», Тургенев мог бы адресоваться тютчевскими стихами:

Не рассуждай, не хлопочи!..  
Безумство ищет, глупость судит;  
Дневные раны сном лечи,  
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей всё пережить:  
Печаль, и радость, и тревогу.  
Чего желать? О чём тужить?  
День пережит – и слава Богу!

«Эх! Лучше не думать!» – восклицает тургеневский герой, сокрушаясь об утраченной молодости в мыслях, которые грызут его «постоянно, глухою грызью» («О моя молодость! О моя свежесть!»).

При схожести нравственно-психологических состояний лирических героев двух авторов у каждого из них намечены своеобразные способы выхода из трагической ситуации. Преодоление метафизического одиночества требует от тургеневского героя большего мужества и особых усилий. И всё же «пейзаж души» остаётся по преимуществу «ночным». В миниатюре «Я встал ночью...» герой смиренно склоняет голову перед неизбежным: «Ах! Это всё моё прошедшее, всё моё счастье, всё,

всё, что я лелеял и любил, навсегда и безвозвратно прощалось со мною! Я поклонился моей улетевшей жизни – и лёг в постель, как в могилу». Эмоционально-психологическая тональность созвучна элегическим стихам в романе «Дворянское гнездо»:

И я сжѐг всё, чему поклонялся,  
Поклонился всему, что сжигал.

В истории духовно-душевных проявлений лирического героя Тютчева больше «светлости», кротости. Строки стихотворения «Осенний вечер» (1830): «Есть в светлости осенних вечеров / Умильная таинственная прелесть» – Тургенев цитировал в письме к Фету, советуя ему таким же образом «настроить струны» поэтической лиры. В отличие от Тургенева, которому в старости была свойственна безысходная тоска по утраченной молодости («Посещение», «О моя молодость! О моя свежесть!», «Чья вина?»), тютчевскому герою присуща

Та кроткая улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовѐм  
Божественной стыдливостью страданья.

В поэтических воспоминаниях Тютчева об ушедшей молодости, о любви, счастье нет чувства старческой горечи, бесплодной обиды или разочарования. Над лирическим героем и его возлюбленной «тень быстротечной жизни» пролетает «сладко»:

И ты с весѐлостью безпечной  
Счастливый провожала день;  
И сладко жизни быстротечной  
Над нами пролетала тень.

*«Я помню время золотое...», 1836*

В поздней поэзии Тютчева сильнее ощутимы жизнелюбие: «Тут не одно воспоминанье, / Тут жизнь заговорила вновь...»; надежда на полноцветное сияние «прощального света» человеческой жизни:

Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней!

Поэт оптимистически утверждает:

Не всё душе болезненное снится:  
Пришла весна – и небо прояснится.

Неслучайно Тургенев называл Тютчева поэтом со «светлым и чутким умом». Философско-поэтическая символика света и тьмы, дня и ночи, представленная Тютчевым («О чём ты воешь, ветер ночной?..» (1836), «День и ночь» (1839) и др.), давала основания видеть в поэте творца («ночной поэзии»). Однако для Тургенева доминантой личности и лирики Тютчева явилось именно светлое, «дневное» начало. Узнав о смерти поэта, Тургенев писал Фету из Буживаля 21 августа 1873 года: «Милый, умный, как день умный, Фёдор Иванович, прости – прощай!».

И сам Тургенев постепенно обретал выход к свету из беспросветных трагических размышлений о мимолётности земной жизни. Излюбленный цветосветовой образ тютчевской лирики – лазурь («чистая и тёплая



лазурь», «туманная и тихая лазурь», «лазурный сумрак», «лазурью неба огневой», «лазурь небесная смеётся» – и т. д.) – нашёл отражение в стихотворно-прозаическом шедевре Тургенева «Лазурное царство». «Царство лазури, света, молодости и счастья» эстетически утверждается как «неувядаемый рай», к которому и в глубокой старости стремится человеческая душа, наделённая способностью предчувствовать вселенскую гармонию. Однако ощущение гармонии как непреложного закона жизни приходит лирическому герою только во сне: «О лазурное царство! Я видел тебя... во сне».

Схожий комплекс идей, настроений и образов представлен в стихотворении Тютчева «Арфа скальда» (1834):

Лазурный свет блеснул в твоём углу,  
Вдруг чудный звон затрепетал в струне,  
Как бред души, встревоженной во сне.

Оба автора ощущают непостижимость, таинственность жизни, поэтому зачастую изображают её на грани яви и сна, здешнего и потустороннего. Так, например, в миниатюре Тургенева «Соперник» появление загробного гостя, призрака не испугало и даже не удивило героя. Некоторым своим стихотворениям в прозе («Конец света», «Встреча») Тургенев сообщает подзаголовок «сон». Действие многих новелл разворачивается как сон или видение: «То было видение...» («Два брата»), «Снилось мне...» («Насекомое»), «Мне снилось...» («Природа») и др.

Поэтика сновидений содержит намёк на иррациональность, запретельность бытия, смысл которого жаждет постичь человек, но в бессилии отступает перед загадкой мироздания. Это становится собственной поэтической темой многих стихотворений Тютчева:

О, как тогда с земного круга  
Душой к бессмертию летим!  
Минувшее, как призрак друга,  
Прижать к груди своей хотим.

<...>

И отягчённою главою,  
Одним лучом ослеплены,  
Вновь упадаем не к покою,  
Но в утомительные сны.

*«Проблеск», 1825*

Общий пафос позднего тургеневского цикла стихотворений в прозе, его мотивный и образный комплекс предугадываются в лирико-философской образности тютчевской поэзии:

Волна шумит, морская птица стонет!  
Минувшее повеяло мне в душу –  
Былые сны, потухшие виденья  
Мучительно-отрадны встают!

*«Кораблекрушение», между 1827–1830*

«Мучительной отрадой» в изображении двух художников слова становится любовь. «Мучительность» проистекает из страстной природы такой любви – первопричины тяжёлых душевных страданий.

Своеобразие изображения любовного чувства, особенно в цикле стихотворений, посвящённых Елене Денисьевой, – «Денисьевском цикле», – было отмечено Тургеневым в статье «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева»: «Язык страсти, язык женского сердца ему <Тютчеву. – А.Н.-С.> знаком и даётся ему». Обращает на себя внимание, что применительно к тютчевскому циклу любовной лирики Тургенев говорит не о «любви», а именно о «страсти».

Страсть, помрачающая душу, доводящая человека до «обморока духовного», губительна по своей греховной природе, далеко отстоящей от Божией благодати. Неслучайно в порыве покаянного самообличения у поэта родились следующие строки:

Не знаю я, коснётся ль благодать  
Моей души болезненно-греховной,  
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,  
Пройдёт ли обморок духовный?

*«Не знаю я, коснётся ль благодать...», 1851*

Помертвевший от буйства страстей человек, даже не смея надеяться на благодать и прощение Божие, всё-таки жаждет восстановления своего «падшего образа». Душа, будучи «по природе христианкой» (Тертуллиан), верует «сверх надежды <...> с надеждою» (Рим. 4: 18), что возрождение и воскресение возможны во Христе, пришедшем в мир, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19: 10). Об этом – и древние пророчества: «Господь поддерживает всех падающих и восстанавливает всех низверженных» (Пс. 144: 14); и молитвенное упование на Рождество Христово: «Христос рождается прежде падший восставити образ»; и данное на Кресте обещание Господа покаявшемуся разбойнику: «ныне же будешь со мною в раю» (Лк. 23: 43).

«Человек создан по образу и подобию Божию и призван к полноте непосредственного богообщения, а потому все люди без исключения должны были бы идти этим путём, но в опыте жизни он оказывается доступным далеко “не для всех”, – размышлял Святой старец Силуан Афонский. – Это потому, что большинство людей не слышит в сердце своём голоса Божия, не понимает его и следует голосу страсти, живущей в душе и заглушающей шумом своим кроткий голос Божий».

В полифонии «Денисьевского цикла» Тютчева представлено подобное многоголосие: в полную силу звучат голоса двух лирических героев – мужчины и женщины, – не сумевших вовремя расслышать в душе «кроткий голос Божий» и безоглядно увлекаемых к гибели шумным «голосом страсти». Именно здесь кроется главный источник драматизма, трагичности тютчевской любовной лирики. Страстное чувство, сулившее «райские наслаждения», обернулось адскими муками, «судьбы ужасным приговором», легло на жизнь женщины «незаслуженным позором», привело её к гибели.

Биографическая основа «Денисьевского цикла» так же трагична и поучительна, как сам этот «роман в стихах».

Двадцатичетырёхлетняя Елена Александровна Денисьева – преподавательница Смольного института благородных девиц, в котором обучались дочери Тютчева («моя коллекция барышень», как он их называл), самозабвенно полюбила поэта – человека почти вдвое старше себя. Девушка безоглядно отбросила светские приличия и условности, дотла сожгла все связующие с прежним мосты, возложила свою жизнь

на жертвенный алтарь. Она была уволена из Смольного института, проклята отцом; дети от так называемого гражданского брака без церковного благословения считались незаконнорождёнными.

Все неисчислимы скорби, тяжесть и катастрофичность союза, на который «нет Божьего согласия» («Когда на то нет Божьего согласия...» (1865), нашли отражение в стихотворном цикле Тютчева. Неизбежный итог разгула «буйной слепоты страстей» подводит стихотворение «О, как убийственно мы любим...» (первая половина 1851):

О, как убийственно мы любим,  
Как в буйной слепоте страстей  
Мы то всего вернее губим,  
Что сердцу нашему милей!

Поэт осознал убийственную и самоубийственную природу греховой страсти как диавольского искушения:

И кто в избытке ощущений,  
Когда кипит и стынет кровь,  
Не ведал ваших искушений –  
Самоубийство и Любовь!

*«Близнецы», 1852*

Через весь поэтический сборник также проходит новаторский мотив «любовь – поединок», «неравная борьба», роковая смертельная схватка. Стихотворение «Предопределение» (1851 или начало 1852), нарушая устоявшиеся традиции любовной лирики, раскрывает трагедийность любовного чувства «в борьбе неравной двух сердец»:

Любовь, любовь – гласит преданье –  
Союз души с душой родной –  
Их съединенье, сочетанье,  
И роковое их слиянье,  
И... поединок роковой...

Новаторство и в том, что лирический герой не только испытал чувства жгучей вины и раскаяния, но и сумел обвинить себя самого от имени возлюбленной за те душевные муки и бесчисленные страдания, которые он ей причинил, будучи духовно незрячим в «слепоте страстей». Безоглядная страсть ставит под удар любящее женское сердце, делает его ранимым и беззащитным, как под ножом убийцы. Пожалуй, впервые в русской литературе поэзия так глубоко проникла в духовный мир героини, помогла выразиться страдающей женской душе. От лица женщины, которая не в силах сдержать охватившего её ужаса и боли, написано стихотворение «Не говори: меня он, как и прежде, любит...» (1851 или 1852). Здесь возлюбленный уподобляется душегубу с занесённым над жертвой ножом:

Он жизнь мою бесчеловечно губит,  
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

<...>

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...  
Не меряют так и лютому врагу...  
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,  
Могу дышать, но жить уж не могу.

«Денисьевский цикл» отличается диалогичностью, дуэтным построением. Так, своеобразным ответом героя на укоризны и упреки героини становятся стихотворения «О, не тревожь меня укорой справедливой...» (1851 или 1852), «Ты, волна моя морская...» (1852) и другие.

Тютчевский герой постоянно терзается, сознавая свою вину перед Богом и людьми, перед любимой женщиной за то, что безрассудно вверг её в пучину отчаяния. Тогда как надлежало бы молить Господа о вразумлении, о преодолении дьявольских искушений, познавая святую волю Божию, просить Его великого заступления в борьбе с помрачающими разум и душу страстями и блудными помыслами.

К тем, кого смущают помыслы прелюбодеяния, обращался со своей неустанной проповедью Святой апостол Павел: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6: 18); «Тело же не для блуда, но для Господа» (1 Кор. 6: 13); «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас» (Еф. 5: 3); «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеёв судит Бог» (Евр. 13: 4).

Отпавшего от Бога человека церковное предание называет блудным сыном – в соответствии с евангельской притчей (ср.: Лк. 15: 11–32). Христос пришёл спасти Своих блудных сыновей, вывести их на истинный путь, потому что они заблудились, отступив от Божьих заповедей.

Лирический герой Тютчева одержим жгучим раскаянием за ложное и фальшивое положение, в которое поставил своё «случайное семейство», обрекая его на трагическую участь. Об этом говорят строки поэтической исповеди «Чему молилась ты с любовью...» (1851 или 1852):

Чему молилась ты с любовью,  
Что как святыню берегла,  
Судьба людскому суесловью  
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась  
В святилище души твоей,  
И ты невольно постыдилась  
И тайн, и жертв, доступных ей.

Представленная страшная картина поругания «святилища души» толпой обвинителей идёт вразлад с Божьими заповедями. Христос, пришедший призвать грешников к покаянию: «пойдите, научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы”»? Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9: 13), – даровал людям свободную волю в Боге, чтобы каждый мог внутренне очиститься от греха. Сам Господь, сошедший с Небес «нас ради человек и нашего ради спасения», явил великий образец милующего отношения к падшему грешнику. Обличив лицемерие книжников и фарисеев: «кто из вас без греха, первый брось на неё камень» (Ин. 8: 7), – Христос, преподав душеспасительное наставление, отпустил с миром приведённую к Нему «женщину, взятую в прелюбодеянии» (Ин. 8: 3): «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8: 11). Не раскаявшимся в гордыне и неверии первосвященникам и старейшинам народа Господь сказал о покаявшихся грешниках: «истинно говорю вам, что мытари и блудницы впредь вас идут в Царствие Божие» (Мф. 21: 31).

Очистительные страдания тютчевской героини не только терзают её, но и раскрывают силу женской природы, её самопожертвования. Всё это также вызывает в лирическом герое ощущение непоправимой вины, самоосуждения за неспособность на столь же самозабвенное ответное чувство. Он готов только преклониться перед высотой самоотвержения:

Перед любовью твоею  
Мне больно вспомнить о себе –  
Стою, молчу, благоговею  
И поклоняюсь тебе...

*«Не раз ты слышала признание...», 1851*

В поэтическом воплощении образа женщины появляются мученический надрыв и даже истовость. Лирическая героиня воспринимает свою любовь то как преступное падение, то как жертвенное вознесение:

Ах, если бы живые крылья  
Души, парящей над толпой,  
Её спасали от насилья  
Бессмертной пошлости людской!

Поэт потрясён зрелищем разрушительной стихии страстной любви, смертоносной для героини («Весь день она лежала в забытии...» (1864):

Весь день она лежала в забытии,  
И всю её уж тени покрывали.

Глубина и сила страданий, причинённых возлюбленной лирическим героем, поражает его в самое сердце:

Любила ты, и так, как ты, любить –  
Нет, никому ещё не удавалось!  
О Господи!.. и это пережить...  
И сердце на клочки не разорвалось...

Героиня прошла свой крестный путь и искупила свою страдальческую жизнь:

Когда на то нет Божьего согласия,  
Как ни страдай она, любя, –  
Душа, увы, не выстрадает счастья,  
Но может выстрадать себя...

После кончины своей невенчанной жены герой продолжает нести мучительное бремя раскаяния. Более того – во искупление непоправимой вины он молитвенно просит у Господа, чтобы эта боль с годами не притуплялась, страдание не ослабевало:

О Господи, дай жгучего страданья  
И мертвенность души моей рассей:  
Ты взял её, но муку вспоминанья,  
Живую муку мне оставь по ней, –  
<...>

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,  
Но и себя не давшей победить,  
По ней, по ней, так до конца умевшей  
Страдать, молиться, верить и любить.

*«Есть и в моём страдальческом застое...», 1865*

Накануне годовщины смерти Денисьевой Тютчев создал покаянно-молитвенные стихи «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» (3 августа 1865):

Вот бреду я вдоль большой дороги  
В тихом свете гаснущего дня...  
Тяжело мне, замирают ноги...  
Друг мой милый, видишь ли меня?  
<...>

Завтра день молитвы и печали,  
Завтра память рокового дня...  
Ангел мой, где б души ни витали,  
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Стихотворение «Когда на то нет Божьего согласия...» (1865) – завершение «Денисьевского цикла» – горячая молитва к милосердному всемогущему Господу:

Душа, душа, которая всецело  
Одной заветной отдалась любви  
И ей одной дышала и болела,  
Господь тебя благослови!

Он милосердый, всемогущий,  
Он, греющий Своим лучом  
И пышный цвет, на воздухе цветущий,  
И чистый перл на дне морском.

Одухотворённые строки выстраданных поэтических признаний Тютчева – ярчайшая страница русской любовной лирики.

Сходный с «Денисьевским циклом» трагический отголосок неуспешной внутренней борьбы человека со страстями явственно различим в тургеневском стихотворении в прозе «Роза». Эта миниатюра отличается особой тонкостью психологического рисунка. Излюбленный писателем приём «тайной психологии» указывает на зарождение и развитие чувства героини, решившейся принести себя в жертву беззаветной любви-страсти. О самом предмете не сказано ни слова, но жесты, взгляды, мимика и движения женщины позволяют автору читать всё сокровенное в её сердце: «Я знал, что совершалось тогда в её душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной, борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла сладить».

Такой психологический контекст сообщает пейзажным зарисовкам этой миниатюры функцию предварения: «Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя». Здесь стихии природы: «внезапный порывистый ливень», «пожар зари», «потоп» – знаменуют губительную силу греховной страсти.

В судьбе отдавшейся этой страсти женщины предугадывается участь лирической героини «Денисьевского цикла». Иносказательный образ

втоптанной в грязь розы с измятыми, испачканными лепестками соотносится с тютчевской метафорой:

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала  
То, что в душе её цвело.  
*«О, как убийственно мы любим...»*

В том же стихотворении, отмечая разрушительное действие страдания, Тютчев пишет:

Куда ланит девались розы,  
Улыбка уст и блеск очей?  
Всё опалили, выжгли слёзы  
Горючей влагою своей.

Мотивы розы, слёз, огня концентрируются в эмоционально-психологическом комплексе тургеневского стихотворения в прозе: «слёзы жгут, – отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя. – Огонь сожжёт ещё лучше слёз <...> Я понял, что и она была сожжена».

Мотив испепеляющей силы любовной страсти в равной мере характерен для обоих авторов. Для Тургенева и Тютчева – это сила неведомая, роковая, которую человек без помощи Божией побороть не в состоянии. Универсальным лейтмотивом этой темы могли бы послужить пушкинские строки из поэмы «Цыганы»: «и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».

Человек ощущает себя беззащитным, слабым перед лицом таинственных стихий. Одна из самых могущественных – сила природы. Характер эстетического восприятия природы и её философского осмысления у двух авторов различается.

Тютчеву – поэту-пейзажисту и философу – свойственно пантеистическое одухотворение природы, которая служит источником вдохновения, поэзии, красоты. Философские идеи Шеллинга о тождестве природы и духа получили в творчестве Тютчева своё законченное эстетическое воплощение. «Весенняя гроза» (1828, начало 1850-х годов), «Весенние воды» (1829, начало 1830-х годов), «Ещё земли печален вид...» (1836), «Есть в осени первоначальной...» (1857), «Чародейкою Зимою...» (1852), «Душа хотела б быть звездой...» (1836) и другие поэтические шедевры строятся на олицетворённых образах природы.

У Тургенева утрачивается характерный для тютчевской пейзажной лирики пантеистический смысл. Однако в миниатюре «Нимфы» нарисована картина воскресения Пана – античного бога лесов, ликования духов природы, нимф и дриад. Когда видение пропало, писатель признаётся, что ему «было жаль исчезнувших богинь».

В то же время оба художника сближаются в постижении временного существования человека в соотнесённости с вечным и бесконечным. Для Тургенева, как и для Тютчева, «природа – сфинкс». Она предстаёт грозной и безучастной стихией, перед которой индивид остро переживает свою случайность, обречённость. Стихотворение в прозе «Природа» содержит аллегорический образ «величавой женщины» – самой Природы, «общей матери» всего живого: «Все твари – мои дети, – промолвила она, – и я одинаково о них забочусь и одинаково их ис-

требляю». Совершенствование и счастье рода людского, по мысли Тургенева, заботит природу не более, чем ножка блохи. Это вызывает внутренний протест человека, мыслящего категориями «добра, разума, справедливости».

Также в стихотворении Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...» (1865): «Невозмутимый строй во всём, / Созвучье полное в природе» – вступают в разлад с душой и мыслями человека:

Откуда, как разлад возник?  
И отчего же в общем хоре  
Душа не то поёт, что море,  
И ропщет мыслящий тростник?

Миниатюра Тургенева «Разговор» представляет собой олицетворённый диалог двух горных альпийских вершин. С льдистой высоты безжизненных каменных громад люди кажутся «козявками», «двуножками», гибнущими бесславно и бесполезно. Выразительный пластический образ на ту же тему создан в тютчевском стихотворении «Альпы» (1830):

Сквозь лазурный сумрак ночи  
Альпы снежные глядят;  
Помертвелые их очи  
Льдистым ужасом разят.

Человек ощущает своё вселенское метафизическое одиночество:

Нам мнится: мир осиротелый  
Неотразимый рок настиг –  
И мы, в борьбе с природой целой,  
Покинуты на нас самих.

*«Бессонница», 1829*

Настроения космического пессимизма, восходящие к философии Шопенгауэра, в особенности свойственны Тургеневу. Склад его художественно-философского мышления ярко проявился в рассказе «Поездка в Полесье», который носит характер стихотворения в прозе, речь ритмически организуется в форме лирической медитации: «О, сердце, к чему, зачем ещё жалеть, старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смиренью последней разлуки, к горьким словам: “прости” и “навсегда”».

Пластически выписанная картина Полесья, в котором герой ощущает себя пленником обступившего его соснового бора, илистого мха, болотной тины, берегов с «рассыпчатым и мелким песком», сходна с пейзажной образностью стихотворения Тютчева «Песок сыпучий по колени...» (1830):

Черней и чаще бор глубокий –  
Какие грустные места!  
Ночь хмурая, как зверь стокий,  
Глядит из каждого куста!

Природа внушает тайный ужас человеку, но вместе с тем она же даёт ему надежду на спасение. Тургенев борется с проявлениями космического



пессимизма и преодолевает его. Философское представление о грандиозности и непостижимости мироздания соседствует с чувством внутреннего родства человека со всей вселенной.

Метафизическое одиночество, сознание того, что каждый встречает смерть один на один, преодолевается с помощью сострадания, милосердия, участия («Ты заплакал», «Мне жаль...»); солидарности со всем живым, сущим: «в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонёк. <...> Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. И в каждой из этих пар, в животном и в человеке – одна и та же жизнь жмётся пугливо к другой» («Собака»). Свою мысль писатель продолжает в новелле «Морское плаванье»: «Все мы дети одной матери – и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному». Несомненно, только любящим сердцем, просвещённым Духом Господним, писатель сумел художественно выразить эти благодатные чувства.

Так наставлял и Святой старец Силуан Афонский: «Дух Божий учит жалеть всю тварь, так что “без нужды” и листа на дереве не хочется повредить. “Листок на дереве зелёный, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок, жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить”».

Пафос братственного единения людей, сочувствия как Божьей благодати особенно горячо выражен в миниатюрах Тургенева «Милостыня», «Нищий», «Два богача» и в стихотворениях Тютчева «Странник» (1829), «Пошли, Господь, свою отраду...» (1850), «Нам не дано предугадать...» (1869).

Лирический герой вместо подаяния благожелательно назвал нищего братом и в ответ получил горячий благодарственный отклик. «Я понял, что и я получил подаяние от моего брата», – признаётся Тургенев. Ситуация может быть выражена по-тютчевски:

Нам не дано предугадать,  
Как слово наше отзовется, –  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать...

*«Нищий», 1878*

Тургеневу и Тютчеву свойственно также обострённое патриотическое чувство. В отличие от многих современников, считавших Тютчева, прошедшего более двадцати лет за границей, «русским иноземцем», «почти иностранцем», Тургенев увидел в нём истинно русского поэта. Писатель осмыслил тютчевское творчество как национальное, накрепко связанное с Богохранимой землёй русской: «мы восстаём только против отделения таланта от той почвы, которая одна может дать ему сок и силу, – против отделения его от жизни той личности, которой он дан в дар, от общей жизни народа, к которой, как частность, принадлежит сама та личность».

Родина, народ, родной язык становятся для личности духовно-нравственной опорой. Её высшее выражение – в хрестоматийном тургеневском стихотворении в прозе «Русский язык».

В миниатюре «Деревня», концептуально открывающей цикл «Стихотворения в прозе», картины среднерусской природы, простонародного быта даны в узнаваемых конкретных деталях, красках, запахах,

звуках. И в то же время они раздвигаются до грандиозных масштабов: «на тысячу вёрст кругом Россия – родной край». В художественном диапазоне писателя ближний ракурс изображения соседствует со все-ленским, космическим: «Вдали, на конце-крае земли и неба». Это осердеченный взгляд именно русского человека, любовно отмечающего в родной земле то, что, по Тютчеву,

Не поймёт и не заметит  
Гордый взор иноплеменный  
Что сквозит и тайно светит  
В наготе твоей смиренной.

Глубокое постижение жизни православной России; природа как источник творческого вдохновения, поэзии, красоты; вера в духовные силы русского народа; слиянность личности со всеобщим также помогают обоим авторам преодолевать пессимистические настроения. С тургеневскими шедеврами «Деревня», «Щи», «Русский язык» лирически соотносятся стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855), «Слёзы людские, о слёзы людские...» (1849), «Над этой тёмною толпой...» (1857), «Умом Россию не понять...» (1866) и другие.

Родная земля для поэта – благословенная святыня, покрытая «ризой чистою Христа». В финале стихотворения «Эти бедные селенья...» эпический образ Родины:

Эти бедные селенья,  
Эта скудная природа –  
Край родной долготерпенья,  
Край ты русского народа!..

– получает знаки святости, неземной высоты, Божьего благословения:

Удручённый ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.

Мысль о жертвенности во имя заповеданной любви к Богу и ближне-му отличается особенной образной и лирической силой: «любовь <...> сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь», – утверждает Тургенев в новелле «Воробей». Христианскую заповедь любви и спасительного самопожертвования: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13), – Тютчев выражает в стихотворении «Чему бы жизнь нас ни учила...» (1870):

Но этой веры для немногих  
Лишь тем доступна благодать,  
Кто в искушеньях жизни строгих,  
Как вы, умел, любя, страдать,

Чужие врачевать недуги  
Своим страданием умел,  
Кто душу положил за други  
И до конца всё претерпел.

Философская мысль двух художников развивается от ощущения вселенской катастрофичности («Конец света» у Тургенева и «Сон на море» (1830), «Кораблекрушение», «Последний катаклизм» (1829) у Тютчева) – к пафосу жизнеутверждения, постижению гармонии Божьего мироустройства как непреложного закона жизни:

Чрез веси, грады и поля,  
Светлея, стелется дорога, –  
Ему отверста вся земля, –  
Он видит всё и славит Бога!..

*«Странник», 1829*

Приобщение к высшим сферам бытия в моменты духовно-нравственного подъёма показано в стихотворениях Тургенева «Стой!», «Мы ещё повоюем», в стихотворении Тютчева «Чему бы жизнь нас ни учила...»:

Чему бы жизнь нас ни учила,  
Но сердце верит в чудеса:  
Есть нескудеющая сила,  
Есть и нетленная краса.

<...>

И эта вера не обманет  
Того, кто ею лишь живёт,  
Не всё, что здесь цвело, увянет,  
Не всё, что было здесь, пройдёт!

Главным недугом своего времени Тютчев считал утрату веры – «обморок духовный». «Не плоть, а дух растлился в наши дни...» – утверждал поэт в стихотворении «Наш век» (1851). Тютчевский современник

И жаждет веры... Но о ней не просит...  
Не скажет век, с молитвой и слезой,  
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:  
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!  
Приди на помощь моему неверью!..»

«Вещая душа» поэта ощущает себя «на пороге / Как бы двойного бытия!..», ищет опору в христианской вере:

Растленье душ и пустота,  
Что гложет ум и в сердце ноет, –  
Кто их излечит, кто прикроет?  
Ты, риза чистая Христа...

*«Над этой тёмною толпой...»*

Несказанную отраду душе подаёт благая весть слова Божия. Поэт, отправляя своей возлюбленной Евангелие, сопровождал его стихотворением «При посылке Нового Завета» (1861). Тютчев адресует к Евангелию и всех своих читателей:

Вот в эти-то часы с любовью  
О Книге сей ты вспомяни –  
И всей душой, как к изголовью,  
К ней припади и отдохни.

Поэтика Тютчева, обогащаясь духовно, вбирает в себя евангельские сюжеты, мотивы и образы. Например, образ Марии – сестры воскрешённого Христом Лазаря и Марфы. В отличие от хлопотливой, многозаботливой Марфы её тихая, созерцательная сестра представлена в Новом Завете не только духовно сосредоточенной, но и глубоко смиренной в своей любви к Господу. В нескольких евангельских эпизодах Мария показана у ног Христа: «села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Лк. 10: 39); «Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидевши Его, пала к ногам Его» (Ин. 11: 32); «Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отёрла волосами своими ноги Его» (Ин. 12: 3).

В подобном любовно-смирненном христианском порыве предстаёт «вещая» – пророчески-прозорливая – душа поэта, жаждущая покаяния:

Пускай страдальческую грудь  
Волнуют страсти роковые –  
Душа готова, как Мария,  
К ногам Христа навек прильнуть.  
*«О, вещая душа моя...», 1855*

Христианской насыщенностью отличаются тургеневские стихотворения в прозе «Христос», «Молитва». Автор ощущает живое всеприсутствие Христа, готов молиться о чуде, принять личного Бога: «настоящая молитва – от лица к лицу».

Наблюдения над проблематикой и поэтикой произведений Тургенева и Тютчева позволяют сделать вывод о том, что при всей творческой и поэтической индивидуальности, при всём своеобразии их художественных миров оба автора объединяются одухотворённым лиризмом, христианским пафосом утверждения единого и неделимого, гармоничного, Богом данного мира:

...И ринься, бодрый, самовластный,  
В сей животворный океан!  
Приди, струей его эфирной  
Омой страдальческую грудь –  
И жизни Божеско-всемирной  
Хотя на миг причастен будь!

*«Весна», 1838*